

Сергей Тимофеевич АКСАКОВ (1791-1859)

«Я ничего не могу выдумывать: к выдуманному у меня не лежит душа, я не могу принимать в нём живого участия...» — писал Сергей Тимофеевич Аксаков своему сыну Ивану. Книга «Детские годы Багрова-внука» — воспоминания Аксакова о собственном детстве. Он написал её для детей и взрослых и посвятил (вместе со сказкой «Аленький цветочек») своей внучке Ольге Григорьевне Аксаковой.

ДЕТСКИЕ ГОДЫ БАГРОВА-ВНУКА

Отрывочные воспоминания

<Жалость>

...Чувство жалости ко всему страдающему доходило во мне, в первое время моего выздоровления, до болезненного излишества. Прежде всего это чувство обратилось на мою маленькую сестрицу: я не мог видеть и слышать её слёз или крика и сейчас начинал сам плакать; она же была в это время нездорова. Сначала мать приказала было перевести её в другую комнату; но я, заметив это, пришёл в такое волнение и тоску, как мне после говорили, что поспешили вернуть мне мою сестрицу. Медленно поправляясь, я не скоро начал ходить и сначала целые дни, лёжа в своей кроватке и посадив к себе сестру, забавлял её разными игрушками или показываньем картинок. Игрушки у нас были самые простые: небольшие гладкие шарики или кусочки дерева, которые мы называли чурочками; я строил из них какие-то клетки, а моя подруга любила разрушать их, махнув своей ручонкой. Потом начал я бродить и сидеть на окошке, растворённом прямо в сад. Всякая птичка, даже воробей, привлекала моё внимание и доставляла мне большое удовольствие. Мать, которая всё свободное время от посещения гостей и хозяйственных забот проводила около меня, сейчас достала мне клетку с птичками и пару ручных голубей, которые ночевали под моей кроваткой. Мне рассказывали, что я пришёл от них в такое восхищение и так его выражал, что нельзя было смотреть равнодушно на мою радость. Один раз, сидя на окошке (с этой минуты я всё уже твёрдо помню), услышал я какой-то жалобный визг в саду; мать тоже его услышала, и когда я стал просить, чтобы послали посмотреть, кто это плачет, что, «верно, кому-нибудь больно» — мать послала девушку, и та через несколько минут принесла в своих пригоршнях крошечного, ещё слепого, щеночка, который, весь дрожа и не твёрдо опираясь на свои кривые лапки, тыкаясь во все стороны головой, жалобно визжал, или *скулал*, как выражалась моя нянька. Мне стало так его жаль, что я взял этого щеночка и закутал его своим платьем. Мать приказала принести на блюдечке тёпленького молочка, и после многих попыток, толкая рыльцем слепого кутёнка в молоко, выучила его лакать. С этих пор щенок по целым часам со мной не расставался; кормить его по не-

сколько раз в день сделалось моей любимой забавой; его называли Суркой, он сделался потом небольшой дворняжкой и жил у нас семнадцать лет, разумеется, уже не в комнате, а на дворе, сохраняя всегда необыкновенную привязанность ко мне и к моей матери.

<Дом>

...Как и когда я выучился читать, кто меня учил и по какой методе — решительно не знаю; но писать я учился гораздо позднее и как-то очень медленно и долго. Мы жили тогда в губернском городе Уфе и занимали огромный зубинский деревянный дом, купленный моим отцом, как я после узнал, с аукциона за триста рублей ассигнациями. Дом был обит тёсом, но не выкрашен; он потемнел от дождей, и вся эта громада имела очень печальный вид. Дом стоял на косогоре, так что окна в сад были очень низки от земли, а окна из столовой на улицу, на противоположной стороне дома, возвышались аршина три над землёй; парадное крыльцо имело более двадцати пяти ступенек, и с него была видна река Белая почти во всю свою ширину. Две детские комнаты, в которых я жил вместе с сестрой, выкрашенные по штукатурке голубым цветом, находившиеся возле спальни, выходили окошками в сад, и посаженная под ними малина росла так высоко, что на целую четверть заглядывала к нам в окна, что очень веселило меня и неразлучного моего товарища — маленькую сестрицу. Сад, впрочем, был хотя довольно велик, но некрасив: кое-где ягодные кусты смородины, крыжовника и барбариса, десятка два-три тощих яблонь, круглые цветники с ноготками, шафранами и астрами, и ни одного большого дерева, никакой тени; но и этот сад доставлял нам удовольствие, особенно моей сестрице, которая не знала ни гор, ни полей, ни лесов; я же изездил, как говорили, более пятисот вёрст: несмотря на моё болезненное состояние, величие красот Божьего мира незаметно ложилось на детскую душу и жило без моего ведома в моём воображении; я не мог удовольствоваться нашим бедным городским садом и беспрестанно рассказывал моей сестре, как человек бывалый, о разных чудесах, мною виденных; она слушала с любопытством, устремив на меня, полные напряжённого внимания, свои прекрасные глазки, в которых в то же время ясно выражалось: «Братец, я ничего не понимаю». Да и что мудрёного: рассказчику только пошёл пятый год, а слушательнице — третий...

<Страх>

...Первые ощущения страха поселили во мне рассказы няньки. Хотя она собственно ходила за сестрой моей, а за мной только присматривала и хотя мать строго запрещала ей даже разговаривать со мною, но она иногда успевала сообщить мне кое-какие известия о буке, о домовых и мертвецах. Я стал бояться ночной темноты и даже днём боялся тёмных комнат. У нас в доме была огромная зала, из которой две двери вели в две небольшие горницы, довольно тёмные,

потому что окна из них выходили в длинные сени, служившие коридором; в одной из них помещался буфет, а другая была заперта; она некогда служила рабочим кабинетом покойному отцу моей матери; там были собраны все его вещи: письменный стол, кресло, шкаф с книгами и проч. Нянька сказала мне, что там видят иногда покойного моего дедушку Зубина, сидящего за столом и разбирающего бумаги. Я так боялся этой комнаты, что, проходя мимо неё, всегда зажмуривал глаза. Один раз, идучи по длинным сеням, забывшись, я взглянул в окошко кабинета, вспомнил рассказ няньки, и мне почудилось, что какой-то старик в белом шлафроке сидит за столом. Я закричал и упал в обморок. Матери моей не было дома. Когда она воротилась и я рассказал ей обо всём случившемся и обо всём, слышанном мною от няни, она очень рассердилась: приказала отпереть дедушкин кабинет, ввела меня туда, дрожащего от страха, насильно и показала, что там никого нет и что на креслах висело какое-то бельё. Она употребила все усилия растолковать мне, что такие рассказы — вздор и выдумки глупого невежества...

<Детское чтение>

...Против нашего дома жил в собственном же доме С. И. Аничков, старый, богатый холостяк, слышавший очень умным и даже учёным человеком... Он услышал как-то от моих родителей, что я мальчик прилежный и очень люблю читать книжки, но что читать нечего... На другой день вдруг присылает он человека за мною; меня повёл сам отец. Аничков, расспросив хорошенько, что я читал, как понимаю прочитанное и что помню, остался очень доволен; велел подать связку книг и подарил мне... о счастье!.. «Детское чтение для сердца и разума», изданное безденежно при «Московских ведомостях» Н. И. Новиковым. Я так обрадовался, что чуть не со слезами бросился на шею старику и, не помня себя, запрыгал и побежал домой, оставя своего отца беседовать с Аничковым. Помню, однако, благосклонный и одобрительный хохот хозяина, загремевший в моих ушах и постепенно умолкавший по мере моего удаления. Боясь, чтобы кто-нибудь не отнял моего сокровища, я пробежал прямо через сени в детскую, лёг в свою кроватку, закрылся пологом, развернул первую часть — и позабыл всё меня окружающее. Когда отец воротился и со смехом рассказал матери всё происходившее у Аничкова, она очень встревожилась, потому что и не знала о моём возвращении. Меня отыскивали лежащего с книжкой. Мать рассказывала мне потом, что я был точно как помешанный: ничего не говорил, не понимал, что мне говорят, и не хотел идти обедать. Должны были отнять книжку, несмотря на горькие мои слёзы. Угроза, что книги отнимут совсем, заставила меня удержаться от слёз, встать и даже обедать. После обеда я опять схватил книжку и читал до вечера. Разумеется, мать положила конец такому иступлённому чтению: книги заперла в свой комод и выдавала мне по одной части, и то в известные, назначенные ею, часы. Книжек всего было двенадцать, и те не по порядку, а разрозненные. Оказалось, что это не полное собрание «Детского чтения», состоявшего из двадцати частей. Я читал свои книжки с восторгом и, несмотря на разумную бережливость матери, прочёл

все с небольшим в месяц. В детском уме моём произошёл совершенный переворот, и для меня открылся новый мир... Я узнал в «рассуждении о громе», что такое молния, воздух, облака; узнал образование дождя и происхождение снега. Многие явления в природе, на которые я смотрел бессмысленно, хотя и с любопытством, получили для меня смысл, значение и стали ещё любопытнее. Муравьи, пчёлы и особенно бабочки с своими превращениями из яичек в червяка, из червяка в хризалиду и, наконец, из хризалиды в красивую бабочку — овладели моим вниманием и сочувствием; я получил непреодолимое желание всё это наблюдать своими глазами. Собственно нравоучительные статьи производили менее впечатления, но как забавляли меня «смешной способ ловить обезьян» и басня «о старом волке», которого все пастухи от себя прогоняли! Как восхищался я «золотыми рыбками»!..

Зима в Уфе

...После такой скучной, продолжительной и утомительной дороги я очень обрадовался нашему уфимскому просторному дому, большим и высоким комнатам, Сурке, который мне также очень обрадовался, и свободе — бегать, играть и шуметь где угодно. В доме нас встретили неожиданные гости, которым мать очень обрадовалась: это были её родные братья, Сергей Николаич и Александр Николаич; они служили в военной службе, в каком-то драгунском полку, и приехали в домовый отпуск на несколько месяцев. С первого взгляда я полюбил обоих дядей; оба очень молодые, красивые, ласковые и весёлые, особенно Александр Николаич: он шутил и смеялся с утра и до вечера и всех других заставлял хохотать. Они воспитывались в Москве, в университетском благородном пансионе, любили читать книжки и умели наизусть читать стихи; это была для меня совершенная новость: я до сих пор не знал, что такое стихи и как их читают. Вдобавок ко всему дядя Сергей Николаич очень любил рисовать и хорошо рисовал; с ним был ящичек с соковыми красками и кисточками... одно уж это привело меня в восхищение. Я любил смотреть картинку, а рисованье их казалось мне чем-то волшебным, сверхъестественным: я смотрел на дядю Сергея Николаича как на высшее существо...

После чтения лучшим моим удовольствием было смотреть, как рисует дядя Сергей Николаич. Он не так любил ездить по гостям, как другой мой дядя, меньшой его брат, которого все называли ветреником, и рисовал не только для меня маленькие картинку, но и для себя довольно большие картины. Я не мог, бывало, дожидаться того времени, когда дядя сядет за стол у себя в комнате, на котором стоял уже стакан с водой и чистая фаянсовая тарелка, заранее мною приготовленная. За несколько времени до назначенного часа я уже не отходил от дяди и всё смотрел ему в глаза; а если и это не помогало, то дёргал его за рукав, говоря самым просительным голосом: «Дяденька, пойдёте рисовать». Наконец, он сел за стол, натирал на тарелку краски, обмакивал кисточку в стакан — и глаза мои уже не отрывались от его руки, и каждое появление нового листка на

дереве, носа у птицы, ноги у собаки или какой-нибудь черты в человеческом лице приветствовал я радостными восклицаниями. Видя такую мою охоту, дядя вздумал учить меня рисовать; он весьма тщательно приготовил мне *оригиналы*, то есть мелкие и большие полукружочки и полные круги, без тушёвки и оттушёванные, помещённые в квадратах, заранее расчерченных, потом глазки, брови и проч. Дядя, как скоро садился сам за свою картину, усаживал и меня рисовать на другом столе; но учение сначала не имело никакого успеха, потому что я беспрестанно вскакивал, чтобы посмотреть, как рисует дядя; а когда он запретил мне сходить с места, то я тарашил свои глаза на него или влезал на стул, надеясь хоть что-нибудь увидеть. Дядя догадался, что прока не будет, и начал заставлять меня рисовать в другие часы; он не ошибся: в короткое время я сделал блистательные успехи для своего возраста. Дядя был в восторге и пророчил, что из меня выйдет необыкновенный рисовальщик. Но не все пророчества сбываются, и я в зрелых годах не умел нарисовать того кружочка, который рисовал в ребячестве...

...Так безмятежно и весело текла моя жизнь первые месяцы. Не могу в точности припомнить, с какого именно времени начала она возмущаться. Это случилось как-то неприметно. Оба мои дяди и приятель их, адъютант Волков, получили охоту дразнить меня: сначала военной службой, говоря, что вышел указ, по которому велено брать в солдаты старшего сына у всех дворян. Хотя я возражал, что это неправда, что это всё их выдумки, но проказники написали крупными буквами указ, приложили к нему какую-то печать — и успели напугать меня. Я всего более поверил кривому Андрюше, который начал ходить к нам всякий день и который, вероятно, был в заговоре. Эта глупая забава продолжалась довольно долго и стоила мне многих волнений, огорчений и даже слёз. Всего хуже было то, что я, будучи вспыльчив от природы, сердился за насмешки и начинал говорить грубости, к чему прежде совершенно не был способен. Это забавляло всех; общий смех ободрял меня, и я позволял себе говорить такие дерзости, за которые потом меня же бранили и заставляли просить извинения; а как я, по ребячеству, находил себя совершенно правым и не соглашался извиняться, то меня ставили в угол и доводили, наконец, до того, что я просил прощенья. Конечно, мать вразумляла меня, что всё это одни шутки, что за них не должно сердиться и что надобно отвечать на них шутками же; но беда состояла в том, что дитя не может ясно различать границ между шуткою и правдою. Иногда долго я не верил словам моих преследователей и отвечал на них смехом, но вдруг как-то начинал верить, оскорбляться насмешками, разгорячался, выходил из себя и дерзкими бранными словами, как умел, отплачивал моим противникам. Всего более доставалось от меня Волкову; впрочем, развязка всегда была для меня слишком невыгодна. Когда надоело дразнить меня солдатством, да я и привык к тому и не так уже раздражался, отыскивали другую, не менее чувствительную во мне струну. Один раз вдруг дядя говорит мне потихоньку, с важным и таинственным видом, что Волков хочет жениться на моей сестрице и увезти с собой в поход. Я поверил и, не имея ни о чём понятия, понял только, что хотят разлучить меня с сестрицей и сделать её чем-то вроде солдата. Гнев и ненависть, к какой только может быть способно

сердце дитяти, почувствовал я к Волкову, которого и прежде недолюбливал. Волков на другой день, чтоб поддержать шутку, сказал мне с важным видом, что ба-тюшка и матушка согласны выдать за него мою сестрицу и что он просит также моего согласия. Из этого вышло много весьма печальных историй: я приходил в бешенство, бранился и хотел застрелить из пушки Волкова, если он только дотронется до моей сестрицы...

...Волков и мои дяди опять принялись мучить и дразнить меня. На этот раз моя любезная Сергеевка¹ послужила к тому весьма действительным средством. Сначала Волков приставал, чтоб я подарил ему Сергеевку, потом принимался торговать её у моего отца; разумеется, я сердился и говорил разные глупости; наконец, повторили прежнее средство, ещё с большим успехом: вместо указа о солдатстве сочинили и написали свадебный договор, или рядную, в которой было сказано, что мой отец и мать, с моего согласия, потому что Сергеевка считалась моей собственностью, отдают её в приданое за моей сестрицей в вечное владение П. Н. Волкову. Бумага была подписана моим отцом и матерью, то есть подписались под их руки; вместо же меня, за неумением грамоте, расписался дядя мой, Сергей Николаич. Бедный мальчик был совершенно сбит с толку! Не веря согласию моего отца и матери, слишком хорошо зная своё несогласие, в то же время я вполне поверил, что эта бумага, которую дядя называл купчей крепостью, лишает меня и сестры и Сергеевки. Кроме мучительной скорби о таких великих потерях, я был раздражён и уязвлён до глубины сердца таким наглым обманом. Бешенство моё превзошло всякие границы и помрачило мой рассудок. Я осыпал дядю всеми бранными словами, какие только знал; назвал его подьячим, приказным крючком и мошенником, а Волкова, как главного виновника и преступника, хотел непременно застрелить, как только достану ружьё, или затравить Суркой (дворовой собачонкой, известной читателям); а чтоб не откладывать своего мщенья надолго, я выбежал, как иступлённый, из комнаты, бросился в столярную, схватил деревянный молоток, бегом воротился в гостиную и, подошед поближе, пустил молотком прямо в Волкова... Вот до чего можно довести доброго и тихого мальчика такими неразумными шутками! По счастью, удар был незначителен; но со мною поступили строго. Наказание, о котором прежде я только слышал, было исполнено надо мною: меня одели в какое-то серое, толстое суконное платье и поставили в угол совершенно в пустой комнате, под присмотром Ефрема Евсеича. Боже мой, как плакала и рыдала моя милая сестрица, бывшая свидетельницею происшествия! Дело происходило поутру; до самого обеда я рвался и плакал; напрасно Евсеич убеждал меня, что нехорошо так гневаться, бранить дяденьку и драться с Петром Николаичем, что они со мной только пошутили, что маленькие девочки замуж не выходят и что как же можно отнять насильно у нас Сергеевку. Напрасно уговаривал он меня повиниться и попросить прощенья — я был глух к его словам. Я, наконец, перестал плакать, но ожесточился духом и говорил, что я не виноват; что если они сделали это нарочно, то всё равно, и что их надобно за то наказать, разжаловать в солдаты и послать на войну, и что они должны просить у меня прощенья. Мать, которая страдала больше меня, беспрестанно подходила к дверям, что-

бы слышать, что я говорю, и смотреть на меня в двер-ную щель; она имела твёрдость не входить ко мне до обеда. Наконец, она пришла, осталась со мной наедине и употребила все усилия, чтоб убедить меня в моей вине. Долго говорила она; её слова, нежные и грозные, ласковые и строгие и всегда убедительные, её слёзы о моём упрямстве поколебали меня: я признавал себя виноватым перед маменькой и даже дяденькой, которого очень любил, особенно за рисованье, но никак не соглашался, что я виноват перед Волковым; я готов был просить прощенья у всех, кроме Волкова. Мать не хотела сделать никакой уступки, скрепила своё сердце и, сказав, что я останусь без обеда, что я останусь в углу до тех пор, пока не почувствую вины своей и от искреннего сердца не попрошу Волкова простить меня, ушла обедать, потому что гости её ожидали. Тогда я ничего не понимал и только впоследствии почувствовал, каких терзаний стоила эта твёрдость материнскому сердцу; но душевная польза своего милого дитяти, может быть иногда неверно понимаемая, всегда была для неё выше собственных страданий, в настоящее время очень опасных для её здоровья. Евсеичу было приказано сидеть в другой комнате. Я остался один. Тут-то наработало моё воображение! Я представлял себя каким-то героем, мучеником, о которых я читал и слышал, страдающим за истину, за правду. Я уже видел своё торжество: вот растворяются двери, входят отец и мать, дяди, гости; начинают хвалить меня за мою твёрдость, признают себя виноватыми, говорят, что хотели испытать меня, одевают в новое платье и ведут обедать... Дверь не отворялась, никто не входил, только Евсеич начинал всхрипывать, сидя в другой комнате; фантазии мои разлетались как дым, а я начинал чувствовать усталость, голод и головную боль. Но воображение моё снова начало работать, и я представлял себя выгнанным за моё упрямство из дому, бродящим ночью по улицам: никто не пускает меня к себе в дом; на меня нападают злые, бешеные собаки, которых я очень боялся, и начинают меня кусать; вдруг является Волков, спасает меня от смерти и приводит к отцу и матери; я прощаю Волкова и чувствую какое-то удовольствие. Множество тому подобных картин роилось в моей голове, но везде я был первым лицом, торжествующим или погибающим героем. Слова «герой», конечно, я тогда не знал, но заманчивый его смысл ясно выражался в моих детских фантазиях. Волнение, слёзы, продолжительное стояние на ногах утомили меня. Конечно, я мог бы сесть на пол, — в комнате никого не было; но мне приказано, чтоб я стоял в углу, и я ни за что не хотел сесть, несмотря на усталость. Часа через два после обеда приходил ко мне наш добрый друг, доктор Андрей Юрьич (Авенариус). Он также уговаривал меня попросить прощенья у Волкова. Я не согласился. Он предложил мне съесть тарелку супу — я отказался, говоря, что «если маменька прикажет, то я буду есть, а сам я кушать не хочу». Вскоре после Авенариуса пришла мать; я видел, что она очень встревожена; она приказала мне есть, и я с покорностью исполнил приказание, хотя пища была мне противна. Мать спросила меня: «Ты не чувствуешь своей вины перед Петром Николаичем, не раскаиваешься в своём поступке, не хочешь просить у него прощенья?» Я отвечал, что я перед Петром Николаичем не виноват, а если маменька прикажет, то прощенья просить буду. «Ты упрямишься, — сказала

мать. — Когда ты одумаешься, то пришли за мной Евсеича: тогда и я прощу тебя». Евсеич подал свечку и поставил её на окошко. Мать ушла, приказав ему остаться со мной, сесть у дверей и ничего не говорить. После пищи я вдруг почувствовал себя нездоровым: голова разболелась, и мне стало жарко. Дремота начала овладевать мною, коленки постепенно сгибались, наконец усталость одолела меня, я сам не помню, как сползли мои ноги, я присел в углу и крепко заснул. После рассказали мне, что Евсеич и сам задремал, что когда пришёл отец, то нашёл нас обоих спящими. Я проснулся уже тогда, когда Авенариус щупал мою голову и пульс; он приказал отнести меня в детскую и положить в постель; у меня сделался сильный жар и даже бред. Проснувшись, или, лучше сказать, очутившись на другой день поутру, очень не рано, в слабости и всё ещё в жару, я не вдруг понял, что около меня происходило. Наконец, всё стало мне ясно: я захворал от волнения и усталости, моя болезнь всех перепугала, а мать привела в отчаяние. Действительно, сбылись мои мечты, хотя от других причин. Все почувствовали свои вины: дядя Сергей Николаич сидел возле меня и плакал; Волков стоял за дверью, тоже почти плакал и не смел войти, чтоб не раздражить больного; отец очень грустно смотрел на меня, а мать — довольно было взглянуть на её лицо, чтоб понять, какую ночь она провела! Вошёл Авенариус и всех от меня выгнал, приказав на некоторое время оставить меня в совершенном покое. Я выздоровел не вдруг. Дня через два, когда я не лежал уже в постели, а сидел за столиком и во что-то играл с милой сестрицей, которая не знала, как высказать свою радость, что братец выздоравливает, — вдруг я почувствовал сильное желание увидеть своих гонителей, выпросить у них прощенье и так примириться с ними, чтоб никто на меня не сердился. Я сейчас вызвал из спальни мать и сказал ей, чего мне хочется. Мать обняла меня и заплакала от радости (как она мне сказала), что у меня такое доброе сердце. Волков был в это время у дядей, и они все трое ту же минуту пришли ко мне. Я с полной искренностью просил их простить меня, особенно Волкова. Меня целовали и обещали никогда не дразнить. Мать улыбнулась и сказала очень твёрдо: «Да если б вы и вздумали, то я уже никогда не позволю. Я всех больше виновата и всех больше была наказана. Этого урока я никогда не забуду».